



BIBLIOTECA
DE
MUSEO
N. 1

J. G. de la Cruz

Игнатий Николаевич Потапенко

Вечный (Записки старого студента #04)



Игнатий Николаевич Потапенко — незаслуженно забытый русский писатель, человек необычной судьбы. Он послужил прототипом Тригорина в чеховской «Чайке». Однако в отличие от своего драматургического двойника Потапенко действительно обладал литературным талантом. Наиболее яркие его произведения посвящены жизни приходского духовенства, — жизни, знакомой писателю не понаслышке. Его герои — незаметные отцы-подвижники, с сердцами, пламенно горящими любовью к Богу, и задавленные

нуждой сельские батюшки на отдаленных приходах, лукавые карьеристы и уморительные простаки... Повести и рассказы И.Н.Потапенко трогают читателя своей искренней, доверительной интонацией. Они полны то искрометного юмора, то глубокого сострадания, а то и горькой иронии.

Произведения Игнатия Потапенко (1856–1929), русского прозаика и драматурга, одного из самых популярных писателей 1890-х годов, печатались почти во всех ежемесячных и еженедельных журналах своего времени и всегда отличались яркой талантливостью исполнения. А мягкость тона писателя, изысканность и увлекательность сюжетов его книг очень быстро сделали Игнатия Потапенко любимцем читателей.

**Игнатий Николаевич
Потапенко
Вечный**

— Что, брат, трусишь? — спросил Аристарх Глаголев молодого студентика второго курса, собиравшегося сдавать экзамен по какому-то «праву», хотя он за последние дни сдал их уже много. — А я нисколько. Вот так пойду и буду разговаривать с профессором, как с тобою.

Студент посмотрел на него с удивлением.

— Но ведь ты, Глаголев, ничего не знаешь. У тебя даже записок нет.

— То есть, как не знаю? Я, пожалуй, записок твоих не знаю, это верно, но о предмете могу говорить сорок восемь часов без умолку.

— И выдержишь?

— Обязательно.

— Но как ты этого достигаешь?

— Гм!.. Не могу тебе объяснить этого. Опыт... Я в своей жизни выдержал, не считая, разумеется, гимназических... постой... чтоб не соврать... да, полагаю, до двухсот экзаменов...

Молодой студент посмотрел на него с глубоким уважением. Он шёл всего только на семнадцатый экзамен, считая со времени вступления в университет.

Да и разница между ними была большая,

хотя они и были оба студентами второго курса юридического факультета. Молодой студент, которого звали Борисовым, производил впечатление совсем подростка. Ему, правда, было на несколько месяцев более двадцати лет, но усы ещё отказывались расти, а на подбородке появилось всего десятка три русых волос. Глаголев же обладал широкой окладистой бородой со странным, рассекавшим её посередине клоком седых волос и многочисленными складками на лбу, который казался огромным, вследствие изрядной лысины.

Они отправились вместе. Было часа два дня; большинство товарищей по курсу уже покончили с экзаменом. В аудитории была небольшая группа, человек в шесть. Все сидели с напряжёнными глазами. У профессора был усталый вид, он спрашивал вяло и, когда студент отвечал, казалось, не слушал. Только у Глаголева был необыкновенно уверенный взгляд, и это было тем более странно, что он очень редко ходил на лекции и совсем не признавал тетрадок и литографированных полулистов.

Профессор не вызывал по фамилиям, а

предоставлял студентам подходить кто хотел. Он не был придирчив, но считался строгим. В особенности от него ожидали строгости в этот час, когда ему стало скучно.

Борисов поднялся, а за ним и Глаголев, и оба пошли к столу. Борисов пошёл отвечать, Глаголев сел в кресле поодаль и с весёлой улыбкой смотрел на товарищей, на скупающего профессора, на бледного Борисова. Он точно пришёл в гости к профессору и ждал, когда тот освободится.

Борисов кончил свой ответ. Глаголев придвинулся; профессор поднял на него глаза, тотчас оживился, и между ними началась беседа. Это не был экзамен, а просто разговор двух людей, понимавших друг друга. Говорили они о разных вопросах, касавшихся права; Глаголев не соглашался с профессором, профессор защищал своё мнение. Глаголев горячо спорил.

— Но позвольте, — говорил он и при этом, вследствие дурной привычки, жестикуюлировал несколько больше, чем следует, — если мы на минуту допустим, что вы правы, то получится ряд противоречий, которые мы нико-

гда не будем в состоянии примирить...

Профессор слушал его со вниманием и, наконец, сказал:

— К сожалению, у меня нет времени продолжать этот интересный разговор, я хотел бы его когда-нибудь возобновить. Меня очень интересует ваша точка зрения...

Глаголев встал, поклонился профессору и удалился. Ему поставили пять. Из университета он зашёл пообедать в плохонький трактир. Борисов был с ним.

— Как ты можешь так свободно держаться с профессором? — спросил Борисов, у которого был теперь довольный и спокойный вид, так как он получил четвёрку.

— Да почему же, мой друг? Ведь профессор — человек, и я тоже человек.

— Но ты совсем не знаешь предмета. Ты не знаком с лекциями.

— Но, голубчик мой, мне тридцать девятый год, я уже четырнадцать лет в университете, и за это время сколько я книг перечитал! Ведь профессор тоже не сам свои знания выдумал. Он учился у других и по книгам, я тоже эти книги читал и могу рассуждать, —

ВОТ И ВСЁ...

После обеда Глаголев отправился домой. Он жил далеко, где-то за Девичьим полем, но всегда шагал пешком. Ноги у него были длинные, с ним идти рядом было мученье. Он делал такие широкие шаги, что нужно было бежать, чтобы поспеть за ним.

Он остановился, когда дошёл до маленького деревянного домика с чистеньким двором и с крыльцом, обведённым диким виноградом. Он вошёл во двор, поднялся на крыльцо. Здесь внимание его обратил на себя один предмет, который в первую минуту показался ему новым. Это был деревянный сундук с выпуклой полукруглой крышкой, весь обитый жостью. Сундук этот здесь никогда не бывал. Сегодня утром ещё он шёл через это крыльцо — другого хода не было — и сундук здесь не стоял.

Он остановился. Сундук не просто заинтересовал его, а как-то странно встревожил, вызвал в нём какое-то смутное чувство, как будто с ним было связано воспоминание. Сундук был старый, с потемневшей обивкой, в иных местах даже ободранной.

«Удивительно, — подумал Глаголев, — откуда этот сундук?»

И вдруг его осенила мысль:

«Но ведь это... это наш сундук... сундук, который я уже знаю тридцать лет... Это сундук моего старика... моего отца...»

И ему показалось, что совершилось чудо. Каким образом старый сундук перекочевал сюда из города Кинешмы, где отец его служил почтовым чиновником? Может быть, это случайное совпадение? Может быть, хозяйка квартиры просто-напросто купила этот сундук на толкучке и поставила здесь?

Он вошёл в дом, никого не встретил в сенях и повернул направо, в свою комнату. Когда он отворил дверь, то увидел, что на старом единственном кресле с обивкой, превратившейся от времени в лохмотья, лежала скомканная николаевская шинель, а на столе чиновничья фуражка, на полу же важно стояли высочайшие кожаные калоши на фланелевой подкладке, а на кровати лежала во весь рост длинная, сухощавая фигура, с бритым, морщинистым лицом и совершенно белыми, низко стриженными, волосами.

Глаголев внимательно взглянул на него.

«Батюшка мой приехал! — думал он, стоя перед кроватью с скрещенными на груди руками. — Вот так старина! Решился! Покинул Кинешму!»

А старик, очевидно, утомлённый дорогой, спал довольно крепко. Он лежал на спине, заложив обе руки под голову. Рот его был раскрыт, и он легонько похрапывал. На нём были старый, очень поношенный вицмундир почтового ведомства и узенькие тёмные брюки.

Глаголев тихо отошёл к столу, поправил шинель и сел в то же кресло, потому что другого не было. Он думал, глядя на спящего старика:

«Ведь вот, никак не мог ожидать... Как же это он решился? Как он оставил службу, которую не покидал столько десятков лет? Ведь он, кажется, в течение всего этого времени не манкировал ни одного дня. За всю свою жизнь никогда не болел. Здоровый человек, крепкий, старого фасона, каких теперь нигде не встретишь. И консерватор до мозга костей! — с улыбкой продолжал размышлять

Глаголев. — Излюбил свою Кинешму и во всю жизнь никогда из неё не выезжал. Как же он решился?»

Он старался сидеть смирно, чтоб движением, от которого старое кресло непременно должно было неистово заскрипеть, не разбудить старика. Но вот старик проснулся, протёр глаза и сел. Глаголев встал.

— Аристарх, это ты?

Глаголев быстро подошёл к нему, они обнялись.

— Когда это вы? Зачем? Каким образом? Как вы решились? — спрашивал Аристарх.

— Ну, так, Москву повидать приехал... Прокатиться... Что ж, мне разве нельзя? Разве запрещено?

Старик улыбался, но, очевидно, говорил не искренно. По тону слышно было, что он не всё говорит, и Глаголев чувствовал это, но не хотел выдавать этого сразу.

«Сам проболтается, — думал он, — не выдержит».

Он спросил про мать.

— Живёт, ничего! — ответил старик. — Кланяется тебе, целует тебя...

— А сестра?

— Замуж вышла.

— Вот как! За кого же?

— А помнишь, чиновничек у нас на почте был, Налимов?

— А, такой серый?

— Ну, зачем же он серый? Он рыжий, а не серый... Жалованья получает двадцать семь рублей пятьдесят копеек в месяц. Маловато, ну да ничего, проживут.

— Но вы... В самом деле, как же вы решились оставить Кинешму, ваше почтовое отделение, ваш просиженный стул? Это для меня совсем непонятно...

— А-а... Хе... Я, брат, тово... в отставку вышел! — признался, наконец, старик.

— Вот в чём дело!

— Да, Аристарх, вышел... Сорок пять лет служил... Хотел дотянуть до полувека, да уж трудно стало... Особенно денежные пакеты... Сургучом плохо владею; рука, знаешь, дрожит, он и расплывается по всему конверту... Да и неловко, — другим надо дорогу дать. Многие так в глаза и смотрят и словно говорят: скоро ли ты ноги протянешь, да вакан-

сию освободить? Вот я и подал в отставку. Что ж, полную пенсию получаю... Немного, правда, очень немного, а всё же... заслужил...

— Тяжело вам будет теперь!

— Тяжело. Это что и говорить... Придётся квартиру оставить, да поменьше взять...

Глаголев задумался. Кажется, это очень простые слова: оставить квартиру и взять другую — поменьше, но в устах его отца они имеют особенное значение... Этот маленький домик, сорок пять лет тому назад, когда отец его женился и вступил на службу в почтовое отделение, стоял ещё за городом, почти среди поля, но теперь там вырос город, и он стоит чуть не в центре. Сорок пять лет в одном доме! В каждом углу, в каждой точке что-нибудь пережито, со всем этим люди сроднились, и бросить это место, когда, может быть, осталось всего несколько лет жизни и придётся бросить и самую землю, и всё, что остаётся на ней... Это должно быть очень тяжело...

Он молчал, и старик тоже не говорил ни слова, и обоим сделалось неловко. Глаголев спросил:

— Ах, да, а что же дядя, Гордий Матвеевич? По-прежнему одинок и скаредничает?

— Нельзя так говорить про дядю, Аристарх! — внушительно сказал ему старик. — Нельзя! Он не скаредничает, нет, а такой уж у него характер... Да, да, всё по-старому. На службу ходит... Что ж, он моложе меня на четыре года... Живёт один, прислуги не держит... Ест всё только холодное да сухое... И всё, бедняга, желудком страдает.

— Да как же ему не страдать, когда он от скупости впроголодь живёт? Так вы в отставке... Так, так.

Глаголев вдруг с живостью поднялся и заговорил как будто новым тоном:

— Ну, старина, а ещё что, — а? Ну-ка, договаривайте. Вижу, что у вас ещё что-то есть на душе.

Старик заволновался, и голова его затряслась.

— Нет, что же ещё? Больше ничего, право, ничего...

— Э-э, не хотите... Ну так, может, я сам угадаю, а? Подумали вы с матерью: вот теперь мы в отставке, пенсия скудная, а сын два фа-

культета кончил, третий начал. Не довольно ли ему учиться? Не пора ли ему взять место да старикам помогать? Так, что ли?

— Что ты, что ты, Аристарх! Экие слова, экие слова! — восклицал старик, и глаза его так и забегали, как у человека пойманного. Аристарх это отлично видел и уже более не сомневался.

Разумеется, это было так. Старики подумали о том, что им приходится менять насиженное гнездо на новое и урезывать жизнь на каждом шагу, и вспомнили о сыне. Сын у них был странный человек. В университет он поступил уже лет пятнадцать тому назад. Никто не скажет, что у него нет способностей; был он сперва математиком и шёл очень медленно, засиживался на каждом курсе. Кончил, но места не взял, а поступил на филологический и на него потратил лет семь. А когда его кончил, опять места не захотел брать, а сделался юристом. Почему он так поступал — старики понять не могли. Им он ничего не стоил, никогда от них рубля не взял. Жил он кое-какими кондициями, одевался плохо, ел неважно, часто даже голодал, но не хотел менять эту

жизнь на другую.

— А это правда, правда, старина! — говорил Глаголев. — Пора, пора и мне запрячься. Пора! Ну, что ж, должно быть, и место приглядели? А? И с начальством переговорили?

— А место таки есть! — сказал старик, значительно оживляясь. — У нас в прогимназии вакансия учителя русского языка, ведь ты филолог, можешь?

— Могу, могу, родитель! Всяким языкам могу обучить. Эх, только жаль, жаль...

— Но что же тебе жаль, Аристарх? Ведь ты Бог знает, как живёшь; посмотри, что у тебя есть. Какое тебе удовольствие так жить, никак я не могу понять этого.

— Какое? А свобода? Моя свобода! Правда, что я ем впроголодь, живу в сарае, одеваюсь как попало. Так ведь зато же я ни от кого не завишу, я свободен, как птица. Вы посмотрите, какая разница! Ну, я стану учителем, сейчас у меня начальство явится: директор, инспектор, тот, другой, третий. Надевай вицмундир, являйся по звонку, а на Новый год и в именины ходи с поздравлением, свои взгляды держи при себе, а чуть выскажешь неуют-

ное, сейчас суровый вид, замечание и разные там неприятности. А товарищи друг другу завидуют, друг на друга косятся, подкапываются... Ведь это всё противно, отец! А тут у меня никого нет. Наше университетское начальство, оно до меня не касается, оно учит и только. Товарищи — славные малые; молодёжь, честность, прямота, простота... Они ещё не тронуты жизнью, не испорчены, Вот что тянет меня сюда, славный мой старик! Поняли вы теперь, а?

Старик сидел на кровати, опустив голову.

— Так, так... Это понятно... Вольный характер... Да... Ну, что ж... коли так... живи, Аристарх, как знаешь, живи... Не хочу лишать тебя свободы!

Глаголев ходил по комнате и обдумывал положение. Жаль ему было и своей вольной студенческой жизни, но жалел он и стариков. Им овладела нерешительность; но, наконец, он ощутил какую-то необыкновенную твёрдость.

— Ладно, — сказал он, обращаясь к старику, — только уж вы, отец, больше не возражайте; я решил. Едемте домой. Беру место. Бу-

дем жить вместе. Надо же когда-нибудь и этого попробовать.

Старик с трудом поднялся и раскрыл объятия.

— Спасибо, Аристарх, спасибо. Я тебе скажу, — не из-за меня это, а из-за матери твоей. Она как подумала о том, что переезжать надо да прислугу нашу единственную на старости лет отпускать, так и разрыдалась, и ничем я её успокоить не мог, и это я тихонько от неё к тебе поехал. Солгал ей, сказал, что в Кострому за отставкой, за бумагой, еду, а сам сюда. Так-то вот...

На другой день Глаголева видели в университетской канцелярии: он забирал свои дипломы. В коридоре его обступили товарищи. Между ними он походил на доброго льва, явившегося среди стада коз. Всё это была юная молодёжь, безусая, безбородая.

— Как? Неужели? Да может ли это быть? — слышалось со всех сторон. — Неужели Глаголев решился?

Тут были студенты всех курсов и факультетов. Все знали Глаголева, как вечного студента, какими-то кровными узами связанного с

университетом. Несколько поколений вступили и вышли на его глазах. Многие из его товарищей были его профессорами. В университете он был свой человек, и странно было даже представить себе университет без Аристарха Глаголева.

Как старый студент, знающий все ходы и порядки, он стоял в центре всего студенчества, всех студенческих затей. Без него не устраивалось ни одного концерта, ни одной подписки. Все недоразумения с профессорами, с начальством проходили через его руки. Он отправлялся к профессору, хлопотал, просил. По этой части за ним числился не один подвиг.

— Да, братцы, — ответил товарищам Глаголев, — уезжаю, место беру. Родителей кормить буду. Пора, пора, други мои, прощайте!

И все поняли, что Глаголев говорит это серьёзно, и прощались с ним.

Вечером того же дня в чистеньком дворе, за Девичьим полем, собралось душ пятьдесят студентов. Возок стоял у крыльца, на нём возвышался старый сундук, обитый жестью, и другой поновее, принадлежавший Аристарху.

Скоро старик с сыном вышли из дома, Аристарх жал всем руки и обнимал товарищей, а старик с грустной усмешкой смотрел на это прощанье. Он видел, какими кровными узами связан его сын со студентами, и ему было как-то совестно, что он лишает сына всех прелестей свободной жизни.

Студенты галдели, шумели; раздавались пожелания; и вот возок двинулся с места, выкатился из двора; стали махать платками и шапками и, наконец, расстались совсем.

«Прощай, Москва! Прощай, *alma mater*[1]! Прощай, моя студенческая свобода!» — мысленно произнёс Аристарх, последний раз оглянувшись на товарищей, но не сказал этого вслух, потому что не хотел огорчить отца.

С отцом у него были особые отношения. Он любил старика, уважал стойкость, с которой он просидел сорок пять лет чуть ли не на одном стуле в почтовом отделении, преклонялся перед его скромностью и способностью довольствоваться малым. Но никогда между ними не обнаружилось ни одного общего взгляда; да и какие взгляды могли быть у человека, так неподвижно прожившего всю свою дол-

гую жизнь? Этот человек ни разу в жизни не отступил от своих обычных правил.

Помнил Аристарх, — это было воспоминание детства, — как его отец, тогда ещё далёкий от теперешней дряхлости, вставал каждый день в семь часов, гулял по маленькому садику, примыкавшему к дому, пил чай и отправлялся на службу. Там он сидел до четырёх часов, потом приходил домой, обедал, часик валялся на диване, шёл к приятелю, жившему через дом, а иногда тот приходил к нему, — они садились за столик, разрисованный шахматными квадратиками, и играли в шашки, пока не стемнеет и не зажгут свечи. Тут приносили чай, завязывался тягучий разговор о почтовых порядках, о городских делах, которые изо дня в день и из года в год были всё одни и те же, а часов в девять, в десять в доме всё затихало, гасились огни, и все укладывались спать, — и так каждый день, так прожито сорок пять лет.

Года три тому назад Аристарх, рано закончив летние кондиции, побывал на родине и нашёл там ту же самую жизнь, без всяких перемен. Шахматная доска поистёрлась, на ней

едва были видны квадратики и трудно было различать цвета, но приятели, оба уже седые, с морщинистыми лицами, сторбленные, наизусть знали, где чёрное, где белое поле, и играли больше по памяти. И все их взгляды, всё мирозерцание были так же тусклы, как эта истёршаяся шахматная доска.

Аристарх даже не пробовал делиться со стариками своими взглядами. Эти взгляды ужаснули бы их. Когда его спрашивали, он просто говорил:

— Так, что-то не вышло... Хочу поучиться ещё... Это никогда не мешает...

— А служить? — спрашивали его. — Надо же начать когда-нибудь.

— Это ещё успеется, — отвечал он. — Куда мне торопиться?

— Однако... пора подумать тебе и о гнезде. В твои годы другие уже детей имеют...

— К этому у меня нет склонности. Притом это всегда бывает невзначай. Случится, жёнюсь, а не случится — и так проживу.

Словом, он старался отделаться по возможности неопределёнными и ни к чему не обязывающими ответами.

К матери он питал нежные чувства. Ему когда-то казалось, что в ней есть какие-то задатки, какое-то смутное стремление к чему-то высшему и живому; в давние годы, когда он едва только вышел из детства и когда его живая натура уже не была в состоянии довольствоваться этой мёртвой, застывшей жизнью, он замечал, что у матери иногда являлось какое-то беспокойство, недовольство окружающим: она вздыхала и глаза её загадочно смотрели куда-то вдаль, как бы чего-то искали. В такие минуты он подолгу смотрел на неё, и ему казалось, что между ними есть что-то общее, что-то такое, чего никто другой не поймёт. Но эти тихие порывы были смутны и ничем ясным не проявлялись, и потом всё это заглохло, и мать его сделалась парой старику во всех отношениях.

Теперь, после его объяснения в Москве, старик сказал такие слова, которые как будто означали, что он его понял. Но Аристарх на этот счёт не заблуждался. Где ему понять? Да ему ведь чужды все эти мысли и слова, которые никогда во всю его жизнь вокруг него не произносились. Может быть, он только по-

чувствовал, и то больше потому, что любил сына, — почувствовал, что лишает его чего-то важного.

Так думал Аристарх, когда возок катился по ровной сухой дороге; но скоро он подавил в себе эти мысли. К чему? Раз он решил отдать себя старикам, пожертвовать для них вольной студенческой жизнью, которую он любил больше всех форм жизни, то нечего было возвращаться к этому и говорить. И у него не было подавленного вида, он ехал с весёлым сердцем, бодрый, и всю дорогу старался разговорить и развеселить старика.

Прошла весна, минуло и лето. В августе студенты съехались в Москву разместились по квартирам и стали посещать университет. Всё шло, как всегда, изо дня в день.

Но всеми ясно чувствовалось, что в университетских коридорах как бы чего-то недостаёт. Аристарх был слишком заметной величиной среди товарищей, чтобы они могли так скоро свыкнуться с его отсутствием. Бывали случаи, что ощущалась даже как бы некоторая растерянность. В сентябре выяснилось, что десятка два товарищей-бедняков не могут

заплатить за лекции и не обладают правом быть освобождёнными от платы. У них были и отцы, и матери, и тем не менее они ничего не имели; надо было устроить концерт, какое-нибудь чтение, чтобы то ни было, лишь бы только собрать для них деньги. И никто не умел этого сделать. Подобные вещи лежали всецело на Глаголеве. Не удалось собрать и половины того, что было надо.

На каждом шагу отсутствие Глаголева давало себя знать. Даже в аудитории было как-то скучно; никто не умел так слушать и так толковать профессорские лекции. Правда, Аристарх редко посещал аудитории, но зато его посещения всегда придавали особый интерес лекции. Он вступал в разговор с профессором, возбуждал интересные вопросы.

Товарищеские споры были не так горячи; в них не замечалось прежней живости. И тут Глаголев придавал им душу. Ведь он участвовал в этого рода спорах в продолжение четырнадцати лет, тогда как другие были новички; но особенно заметно было его отсутствие на студенческих вечеринках, потому что он умел и пить, и веселиться как настоящий ста-

рый студент.

Это было в конце сентября. Стоял пасмурный день, в городе запахло осенью.

В плохоньком трактирчике, где большею частью обедали студенты, часа в два собралось изрядное общество. В трактире была особая длинная комната, вся уставленная столиками, куда никто не заходил, кроме студентов. И вот дверь отворилась, и на пороге появилась гигантская, крепко сложенная фигура, с огромной бородой. Седой клоч, прорезывавший её посредине, стал шире, лысина над лбом заметнее.

— Глаголев! Глаголев! Аристарх Глаголев! — послышалось со всех сторон, и в комнате вдруг произошла какая-то бестолковщина.

Все вскочили с мест, всё перепуталось. Глаголева окружили, начались объятия, рукопожатия, поцелуи.

— Каким образом? Откуда? — спрашивали его. — Погостить приехал? Соскучился?

— Какой там погостить! — отвечал Аристарх. — Совсем приехал, совсем. Сейчас в канцелярии был и на тот же второй курс

определился. Ведь я тогда не додержал экзаменов... Эх, други мои, — восклицал Глаголев, — как же мне хорошо вдруг стало с вами! А я уж думал, что окаменевать начну. Ещё один месяц — и запил бы, ей-ей, запил бы горькую!

Уже он сидел за своим любимым столиком у окна, к нему придвинулись и другие, и он рассказывал историю своего возвращения.

— Решил я тогда кормить родителей, — повествовал Аристарх. — Нельзя, это обязанность, други мои. Очень уж жалко стало старцев. Ну, вот, взял место, соорудил себе вицмундир, напялил и стал юношество обучать российской грамматике. Оно бы ничего. Начальство попало хорошее, товарищи милые. Мелюзга — тоже народ хороший, даже любить меня стали. Только как завелась эта машина, други вы мои... Каждый день одно и то же... Что есть имя существительное? Что есть имя прилагательное? Что есть глагол?.. Так начал я чувствовать, что каждый час мне в голову кто-то по гвоздику вбивает. И оно, пока занят, ещё ничего, но как только свободный час, так сию минуту охватывает тебя тос-

ка по свободе, по товариществу, по моему пустому сараю за Девичьим полем, по кухмистерской, по университетским коридорам, по аудиториям, по нашим горячим спорам, по нашим вечеринкам, по всему юному, здоровому, беспечному, прямому и честному... И загрустил я, так загрустил, что думал, утоплюсь, ей-ей! И вдруг судьба послала мне улыбку. Дядюшка мой — странный был человек, скаредный, всю жизнь копил, и я за это не одобрял его, а теперь каюсь и одобряю, — да, так дядюшка мой, Гордий Матвеевич, вдруг взял и скончался и оставил моим родителям целых двенадцать тысяч рублей наследства, которые скопил за всю жизнь. А это ведь в нашей палестине огромные деньги. Ну, вот, увидел я, что стариков больше кормить не надо, и сейчас же в отставку, забрал свои пожитки и сюда. И вот теперь, други мои, я опять с вами, опять я студент и так думаю, что по природе своей вечным студентом и останусь и, может быть, на этом поприще и дни свои окончу. Славное поприще, ни на что не променяю его. За товарищество! За вольную студенческую жизнь! За науку! — возвысив голос, закончил

Аристарх, подняв кверху руку, в которой был стакан с чистойшей водой.

Поднялся шум, приветственные восклицания, смешанные с весёлым смехом, огласили комнату. Стаканы с водой потянулись к Аристарху, раздались чоканья.

Но скоро вода в стаканах заменилась вином, и долго в этот вечер не смолкали звонкие голоса в длинной комнате плохого трактирчика.

Примечания

Alma mater — буквально «благая мать», эпитет родного учебного заведения. Прим. ред.

[^^^]